

А. В.  
АМФИТЕАТРОВ



*Избранное*



# Александр Валентинович Амфитеатров

## Отравленная совесть

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2779655](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2779655)*

### Аннотация

«Людмиле Александровне Верховской исполнилось тридцать шесть лет. Восемнадцать лет, как она замужем. Обе ее дочери – Лида и Леля – погодки, учатся в солидной частной гимназии; Леля идет классом ниже старшей сестры. Сын Митя, классик, только что перешел в седьмой класс. Людмила Александровна слывет очень нежною матерью; а в особенности любит сына. Она сознается:

– Пристрастна я к нему, сама знаю... но что же делать? Митя – мой Вениамин...»

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| I                                 | 4  |
| II                                | 12 |
| III                               | 20 |
| IV                                | 29 |
| V                                 | 42 |
| VI                                | 48 |
| VII                               | 54 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 61 |

# Александр Валентинович Амфитеатров Отравленная совесть

## I

Людмиле Александровне Верховской исполнилось тридцать шесть лет. Восемнадцать лет, как она замужем. Обе ее дочери – Лида и Леля – погодки, учатся в солидной частной гимназии; Леля идет классом ниже старшей сестры. Сын Митя, классик, только что перешел в седьмой класс. Людмила Александровна слывет очень нежною матерью; а в особенности любит сына. Она сознается:

– Пристрастна я к нему, сама знаю... но что же делать? Митя – мой Вениамин.

В московском обществе, не в самом большом, но, что называется, порядочном: среди не вовсе еще оскуделого дворянства Собачьей площадки, Арбатских и Пречистенских переулков, среди гоняющейся за ним и подражающей ему солидной буржуазии, – опять-таки только солидной, старинной, а не с шальными миллионами, невесть откуда выросшими, чтобы вскоре и невесть куда исчезнуть, – Людмила Александровна пользуется завидным почетом. Ее ставят в образец

светской женщины хорошего тона. Злополучнейший из московских мужей, Яков Асафович, или, как любит он, чтобы его звали Иаков Иосифович Ратисов, всякий раз, когда переполняется чаша его супружеских горестей, колет своей дражайшей, но легкомысленной половине глаза примером Людмилы Александровны:

– Олимпиада Алексеевна! побойтесь Бога! ведь у нас с вами – не жизнь, а канареечное прыганье какое-то: с веточки на веточку, с жердочки на жердочку – порх, порх!.. Я не говорю вам: откажитесь от общества, от удовольствий, забудьте свет, превратитесь в матрону, дома сидящую и шерсть прядущую. Сделайте одолжение: вертитесь в вашем обществе, сколько вам угодно, – не препятствовал, не препятствую! и не могу, и не хочу препятствовать!.. Но всему же есть мера: даже птица, наконец, и та свое гнездо помнит. Вам же – дом, дети, я, слуга ваш покорнейший, – все трын-трава. Мы для вас – точно за тридевять земель живем, в Полинезии какой-нибудь. Если у вас не сердце, а камень, если вам не жаль нас – по крайней мере, посовеститесь людей!

– Каких же людей? – огрызалась Олимпиада Алексеевна – рыжеволосая, белотелая «король-баба», беспечности и беспутства которой не унимали ни порядочные уже годы, ни видное общественное положение мужа.

– Да хоть падчерицы вашей, Людмилы Александровны Верховской. Уж кажется, никто не скажет, что не светская женщина. И живет не монахиней: всюду бывает, все видит,

со всеми знакома. А при всем том посмотрите: в доме у нее порядок, в семье – мир, тишина, согласие; муж – не вдовец при живой жене, дети – не сироты от живой матери...

– Нашли кем попрекать! – равнодушно возражала Олимпиада Алексеевна. – Людмилою!.. Вы бы еще статую какую-нибудь мраморную припомнили... Людмил разве много на свете? Она у нас одна в империи. Я и то удивляюсь, что ее еще держат на свободе, а не заперли в музей под стекло, в поучение потомству... Знаете, как Кузьма Прутков говорил: «Друг мой, удивляйся, но не подражай!..» Людмила уже и в институте была «парфеткою».

– Но ведь и вы же, сказывают, – сколько это ни невероятно – в институте были из парфеток? – язвил Ратисов.

– Была, да, слава Богу, вовремя опомнилась. А Милочка – так в парфетках на всю жизнь и застряла...

Между тем Людмила Александровна была замужем за человеком и старше ее на целых двадцать лет, и далеко не блестящим ни по уму, ни по внешности. Только сердце для Степана Ильича Верховского Господь Бог выковал из червонного золота, да честен он был – «возмутительно», как смеялись над ним товарищи по службе. Он обладал недурным состоянием, но далеко меньшим, чем оставил его жене покойный отец ее – известный «человек сороковых годов», Александр Григорьевич Рахманов, разделивший по завещанию все свое движимое и недвижимое пополам между единственной своей дочерью Людмилой Александровной и второй же-

ной, Олимпиадой Алексеевной, урожденной Станищевой: о ней именно – во втором браке Ратисовой – только что шла речь. Капитал Людмилы Александровны считался неприкосновенным – «детским». Жили Верховские на довольно крупное жалованье Степана Ильича из солидного московского банка, где он искони директорствовал и справил уже двадцатипятилетний юбилей своего директорства.

За Людмилою Александровною, как за молодою женою пожилого мужа, много ухаживали. Однако Степану Ильичу не приходилось ревновать жену: она была верна ему безусловно. Эта женщина имела счастливый талант – как-то незаметно переделывать своих поклонников просто в друзей, полных самой горячей к ней привязанности, но чуждых любовного о ней помышления. Один из поклонников, возвращенных Людмилою Александровною – как сам он сострил – «с пути бессмысленных мечтаний на путь общественных добродетелей», двоюродный ее брат, судебный следователь Синев, спросил ее однажды:

– Скажите, кузина: как это вы – такая молодая, красивая, умная, живая – ухитряетесь оставаться верною человеку, которого не любите?

– Кто же вам сказал, что я не люблю Степана Ильича?

– Логика. Он немолод, некрасив; нельзя сказать, чтобы хватал звезды с неба...

– Лжет ваша логика. Если хотите знать правду, замуж я шла действительно не любя. Но я слишком уважала Степана

Ильича, чтобы показать ему свое равнодушие в первые годы нашего брака. А там, за детьми – трое ведь у нас, да двое умерли! – я, право, до того свыклась со своим положением, что теперь даже и представить себе не могу, как бы я жила не в этом доме, не женою Степана Ильича, без Мити, Лиды и Лели...

– Неужели ни один мужчина не интересовал тебя за эти восемнадцать лет? – пыталась Людмила Александровну в интимной беседе Олимпиада Алексеевна Ратисова.

– После замужества? Ни один.

– Гм... Не очень-то я тебе верю. Сама за старым мужем жила: ученая... А Сердецкий, Аркадий Николаевич? Его-то в каком качестве ты при себе консервируешь?

– Как тебе не стыдно, Липа? – вспыхивала Верховская. – Неужели если мужчина и женщина не любовники, то между ними уж и хороших отношений быть не может?

– Да я – ничего... Болтали про вас много в свое время... Ну, и предан он тебе, как пудель... Весь век прожил при семье вашей сбоку припекою, остался старым холостяком: Тургенев этакий при Полине Виардо... Собою почти красавец, а без романа живет... даже любовницы у него нет постоянной... я знаю... Спроста этак не бывает. До пятидесяти годов старым гимназистом вековать этакому человеку – легко ли? И под пару тебе: ты у нас образованная, читалка, а он литератор, философ... целовались бы да спорили о том, что было, когда ничего не было...



– Аркадий Николаевич был мне верным другом и остался. Между нами даже разговора никогда не было – такого, как ты намекаешь, – романического.

– Вам же хуже: чего время теряли? Сердечкий – и умница, и знаменитость... чего тебе еще надо? Ну да ваше дело: кто любит сухую клубнику, кто со сливками – зависит от вкуса... Итак, ни один?

– Ни один.

Ратисова разводила руками.

– Ну, тебе и книги в руки... А меня, грешную, кажется, только двое и не интересовали: покойный мой супруг – твой родитель...

– Очень приятно слышать дочери!

– Да уж приятно ли, нет ли, а не солгу. «Амикю Плято, сед мажи амикю верита!»

– Господи! Что это? на каком языке?

– По-латыни. Значит: «Платон мне друг, но истина друг еще больше». Петька Синев обучил. Тебе, что ли, одной образованностью блистать?

– Зачем же ты латинские-то слова по-французски произносишь!

– Словно не все равно? На все языки произношения не напасешься!.. Но с отцом твоим хоть и скучненько жить было, все же на человека походил, уважать его можно было. А уж мой нынешний дурак... отдала бы знакомому черту, да совестно: назад приведет!

– Липа, не болтай же вздора!

– Не могу, это выше сил моих. Как вышла из института, распустила язык, так и до старости дожила, а сдержать его не умею. А впрочем, в самом деле, что это я завела – все о мужьях да о мужьях? Веселенький сюжетец, нечего сказать! Только что для фамилии нужны, и общество требует, а то – самая бесполезная на земле порода. Землю топчут, небо коптят, в винт играют, детей делают... тьфу! Еще и верности требуют, козлы рогатые... Как же! черта с два! Теперь в нашем кругу верных жен-то, пожалуй, на всю Москву ты одна осталась... в качестве запасной праведницы, на случай небесной ревизии, чтобы было кого показать Господу Богу в доказательство, что у нас еще не сплошь Содом. А знаешь, не думала я, что из тебя выйдет недотрога. В девках ты была огонь. Я ждала, что ты будешь – ой-ой-ой!

Три года тому назад, когда исполнилось пятидесятилетие брака Людмилы Александровны и Степана Ильича, тетка и воспитательница ее, Елена Львовна Алимова – которой настоянием и сладилось когда-то это супружество, – говорила племяннице:

– Когда ты выходила замуж, я думала, что делаю тебе благодеяние, устроив тебя за Степана Ильича. Но потом... ты – молодая, он – старик... Признаюсь, я много раз упрекала себя, часто думала, что загубила твою жизнь, что не такого бы мужа надо тебе. А с другой стороны, ты всегда такая ровная, спокойная – как будто и довольна своим бытом... При-

знайся откровенно, по душе: не маска это? Действительно ты счастлива?

Людмила отвечала:

– Я спокойна, тетя.

Тетя подумала и сказала:

– Что же? И то не худо! в наше время это, пожалуй, почти то же, что счастлива. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Верь Пушкину, Людмила. Умный был поэт.

## II

Зимний сезон 188\* года был в разгаре. Верховские, пополам с Ратисовыми, имели абонемент в итальянской опере.

Олимпиада Алексеевна Ратисова принадлежала к числу тех страстных театралок, из хаоса которых развились впоследствии мазинистки, фигнеристки, тартаковистки и прочие за– и предкулисные «истки», объединенные ходячим остроумием в общем типе и общей кличке «психопаток». Впрочем, ухаживание ее за артистами было гораздо менее платонического характера, чем влюбленные экстазы большинства ее компаньонов по оперному и драматическому беснованию. Все еще эффектная наружность и задорная бойкость обращения выгодно выделяли Ратисову из этой полоумной толпы, и не один итальянский тенор, не один трагик уезжал на родину, по уши влюбленный в московскую «Venus gousse<sup>1</sup>», готовый для нее на тысячи глупостей, между тем как сама «Venus gousse», проводив минутного друга горькими слезами, осушала глаза, едва исчезал из виду уносивший его вагон, и, покорствуя своему необузданному темпераменту, спешила завести новый роман: «глядя по сезону» – дразнил ее Синев.

– Вам бы, тетушка, в Риме жить, при Нероне или Коммо-

---

<sup>1</sup> «Русская Венера» (*ит.*).

де, – трунил он.

– А что? – добродушно недоумевала Олимпиада Алексеевна.

– Да так: натура у вас уж очень римская.

– Ври еще!

– Клянусь вам.

– Не обманешь, брат. Я ведь тоже скиталась за границей по музеям-то – нагладелась на этих римлянок: долгоносые какие-то, Бог с ними... и небось черномазые были, как сапог – а?

– Да я, тетушка, не о наружности: помилуйте! – «кто может сравниться с Матильдой моей?»! А настроение у вас подходящее... Там, видите ли, были дамы, которые считали своих мужей по консулам. Новое консульство – ну, и в отставку старого мужа, подавай нового... Хорошие были нравы! правда, тетушка?

– Дурак! – раздражалась Олимпиада Алексеевна, и оба хохотали.

– Ведь вы, тетушка, – уверял Синев в другой раз, – знаете в жизни только три ремесла: любить, мечтать о любви и писать любовные письма.

– Верно, – соглашалась Олимпиада Алексеевна. – Обожаю эту корреспонденцию. Всю жизнь писала и теперь пишу.

– Вот как! Кому же, тетушка?

– Мазини, Хохлову, Тартакову – всем, кто на горизонте...

– Это значит: «Звезда вечерняя моя, тебе привет шлю

сердцем я!» Бей сороку и ворону – попадешь на ясного сокола. Логично, тетушка. И получаете ответы?

– Иностранцы отвечают: они, во-первых, вежливы, не чета русским неотёсам, а во-вторых, у них на этот предмет имеются специальные секретари.

– И все *poste restante*<sup>2</sup>... под псевдонимами?

– Разумеется.

– То-то, я думаю, вы почтамту надоели!

– Вот еще! а на что же он и учрежден? Пусть работает! небось правительство деньги платит.

Когда «на горизонте» не виднелось никакого театрального светила, Олимпиада Алексеевна обращала свою интересную корреспонденцию и в другие области. Так, она тянула года полтора романическую переписку с одним молодым беллетристом.

– Ведь вот, – удивлялась она, доверяя свою тайну Людмиле Александровне, – в институте, помнишь, я училась плохо, слыла тупицею... сколько раз ходила без передника – именно за литературу эту глупую... А тут, знаешь, откуда что берется: просто сама себя не постигаю.

– Специальность особого рода!

– Должно быть. Оно и точно: я замечала, – так, вообще, в делах, в разговоре, я не очень; а когда дело дойдет до любви, становлюсь преумная. Куда же до меня этой Надсоновой... как бишь ее? – графине Лиде, что ли? Мой сочинитель изум-

---

<sup>2</sup> До востребования (*фр.*).

лялся: откуда, пишет, у вас, баронесса Клара, – я баронессой Кларой подписываюсь, – берется такая тонкость в анализе страстей? Анализ страстей! Недурно сказано? А?

– Чего же лучше? Но как смотрит на твои подвиги муж?

– Очень мне нужно, как он смотрит. Состояние мое и воля моя.

Зачем Олимпиада Алексеевна, едва отбыв траур по первом старом муже, поторопилась выйти за Ратисова, тоже уже немолодого и скучнейшего в мире холостяка, притом не чувствуя к нему ни любви, ни уважения (да и нельзя было их чувствовать к этой смешной фигуре, самую природою предназначенной к роли Менелая), – она сама недоумевала.

– Бес попутал, – объясняла она. – Кто ж его знал, что он такой? С виду был как будто и порядочный человек, и мужчина, а на деле вышел размазня, тряпка, жеваная бумага, Мижуев противный...

– Я так полагаю, тетушка: вы это из предосторожности, – смеялся Синев.

– То есть из какой же, Петя?

– Из предосторожности, чтобы не выйти замуж за кого-нибудь еще хуже.

– А что ты думаешь? Ведь, пожалуй, правда!

– Разумеется, правда. Темперамент ваш мне хорошо известен. Не будь у вас премудрого Иакова, вы давно бы обвенчались с каким-нибудь синьором Аморозо.

– Меня и то один баритон уговаривал развестись с Иако-

вом.

– Вот видите. И обобрал бы вас, тетушка, этот баритон до последней копейки, и колотил бы он вас четырнадцать раз в неделю... ух, как эти шарманщики колотить умеют! Кулачищи у них – во какие! Народ музыкальный: бьют в такт, *sforzando*<sup>3</sup> и *rinforzando*<sup>4</sup>. А Иаков – человек безобидный. Ему лишь бы винт был, английский клуб, да печатали бы юмористические журналы его стишонки и шарады, – а затем хоть трава не расти. Я думаю, тетушка, он уже позабыл, как дверь открывается на вашу половину...

– А зачем ему шлаться, куда его не спрашивают?

– Да-с, тетушка! вы мало цените своего Иакова. В мужья он, конечно, не годится, но презерватив великолепный.

– Что это – презерватив?

– Маленькая штучка в револьвере. Захлопнул ее – и щелкай курком, сколько хочешь: выстрела не будет. Так и вы, тетушка: при Иакове влюбляться в своих шарманщиков и «романсовать» – как выражаются поляки – можете с ними сколько угодно, но выпалить замужеством – ни-ни! презерватив не позволяет.

Между Людмилою Александровною и Олимпиадою Алексеевною – при всем несходстве их характеров и образа жизни – существовала нежнейшая дружба, еще с институтских времен. Впрочем, в институте обожание Липы Станищевой

---

<sup>3</sup> Сильно выделяя (*ит.*).

<sup>4</sup> Усиливаясь (*ит.*).



было чуть не повальной болезнью. Чем тянула она к себе подруг, ни она сама, ни они не понимали; но когда Олимпиада Алексеевна и Людмила Александровна, вдвоем, вспоминали ученические годы, их разбирал невольный смех: столько глупостей делал класс во имя своего кумира...

– Помнишь, как Нина Чаагадзе вытравила на плече твой вензель?

– А Ольга Худая клялась, что, если я не буду ей «отвечать», выпьет целую бутылку уксусу и наживет чахотку...

– А Юлинька Крахт вставала по ночам молиться за твои грехи.

– И Леопольдина Васильевна оставила ее за это на целый месяц «без родных».

По окончании курса Липа Станищева, прямо из института, вошла в семью Милочки Рахмановой: сперва полугостью-полукомпаньонкой богатой подруги, а там – влюбила в себя самого Александра Григорьевича Рахманова, и семья оглянуться не успела, как в среде ее возликовал Исая и в доме появилась новая хозяйка. Перемена эта ничуть не испортила отношений между молоденькими мачехой и падчерицей: разница в возрасте между ними была всего на три года. Напротив, они даже как будто еще больше сдружились, – к великому неудовольствию старой хозяйки дома, Елены Львовны Алимовой, пожилой, упорно-девственной тетки Людмилы Александровны. Привыкнув со смерти своей сестры, первой жены Рахманова, полновластно пра-

вить и его имуществом, и воспитанием Милочки, Алимова крайне неохотно уступила Олимпиаде Алексеевне свое место и влияние.

– Чем очаровала Александра Григорьевича эта женщина? – изумлялась Алимова, жалуясь на свою судьбу приятельницам. – Поэт, эстетик, гегелианец, с Грановским был дружен, Фауста переводил, о Винкельмане сочинил что-то, и вдруг – с великой-то эстетики – женился на вульгарнейшей буржуазке... Это после сестры Лидии – после красавицы, которой Глинка посвящал романсы, которой умирающий Гейне целовал руки... И хоть бы эта мешаночка была хороша собою! А то просто gonssore<sup>5</sup>. В любом уездном городе таких рыжих и толстощеких белянок – по четырнадцати на дюжину. Только они не щеголяют воровскими платьями и шляпками из Парижа, а ходят в платочках и кацавейках...

Маленькая черная кошка пробежала между приятельницами лишь в год свадьбы Людмилы Александровны. Брак ее с Верховским был неожиданностью для общества. Москва единогласно прочила молодую девушку за некоего Андрея Яковлевича Ревизанова, изящнейшего молодого человека, весьма небогатого, но с вероятною большою карьерою. Ревизанов бывал у Рахмановых чуть не каждый день, показывался с ними в театре и на балах, как свой человек... Потом вдруг точно отрезало. Ревизанов уехал из Москвы на Урал управлять делами одной золотопромышленницы, и слух о

---

<sup>5</sup> Русачка (*искаж. фр.*).

нем пропал, а Людмила Александровна, даже с какою-то необычайною быстротой, вышла замуж за ближайшего друга своего отца – Степана Ильича Верховского. Молва обвиняла в разрыве молодых людей Олимпиаду Алексеевну, предполагая, что Ревизанов, имевший в Москве довольно определенную репутацию Дон-Жуана, обращал на свою будущую тещу больше внимания, чем могло понравиться Людмиле Александровне... Так или иначе, но года два молодые дамы оставались в натянутых отношениях. И только когда у Людмилы Александровны родилась дочь Лидия – второй ее ребенок, – Олимпиада Алексеевна внезапно приехала к бывшей подруге за примирением и назвалась в крестные матери. Произошло очень трогательное свидание и объяснение. Обе женщины много плакали, и дружба восстановилась. В обществе замечали только, что роли приятельниц в их дружеском союзе переменились: до ссоры главенствовала Олимпиада Алексеевна, а Людмила Александровна шла за нею «в хвосте»; после же ссоры перевес влияния и авторитета весьма чувствительно оказался за Людмилою Александровною... Олимпиада Алексеевна стала даже как будто побаиваться подруги.

### III

В третье представление абонементов Верховских и Ратисовых давали «Риголетто». Пели Зембрих и Мазини. Театр был полон. В антракте Синев – он сидел в партере – зашел в ложу родных.

– Здравствуйте, тетушка, здравствуйте, кузина... Ну-с, что вы мне дадите, если я сейчас покажу вам самого интересного человека в Москве?

– Мы его и без тебя видим, – возразила Олимпиада Алексеевна.

– Кто же это, по-вашему?

– Разумеется, кто: он! божественный Мазини!.. Как поет-то сегодня! А? Не человек, а музыка! соловей, порхающий с ветки на ветку!

– Поет хорошо, – тем не менее, тетушка, вы ошибаетесь. Если вам будет угодно взять в руки бинокль и посмотреть в первый ряд – вон туда глядите: третье кресло от прохода, – вы увидите человека, перед которым ваш Мазини – мальчишка и щенок... не по голосу, но в смысле романической интересности, разумеется.

Дамы вооружились биноклями.

– Блондин?

– Да... длинная борода с проседью... смокинг... Да вы его сразу заметите: он выдается из целого ряда, – недюжинная

фигура!..

– Гм... действительно хорош... и – знаешь, Милочка, – лицо как будто знакомое... не припомню, где я его видала?

Людмила Александровна не ответила. Стянутая черною перчаткою рука ее, с биноклем, крепко прижатым к глазам, заслоняла ее лицо: иначе Синев и Ратисова заметили бы, что Верховская сильно побледнела.

– Матушки! – вскрикнула Олимпиада Алексеевна так, что на нее оглянулись из соседней ложи, – Милочка... да ведь это он! неужели ты не узнаешь? это он!

– Кто? – глухо отозвалась Людмила Александровна, продолжая смотреть в бинокль.

– Ревизанов – вот кто!

– Совершенно верно, тетушка: он самый, – подтвердил удивленный Синев, – но откуда вы его знаете?

Олимпиада Алексеевна расхохоталась:

– Вот вопрос! кому же и знать Ревизанова, как не нам с Людмилою? Правда, Милочка?

Она хитро прищурилась.

– Он старый наш знакомый, Петр Дмитриевич, – тихо сказала Людмила Александровна, опуская бинокль, – мой отец вывел его в люди.

Синев покачал головою:

– Не думаю, чтобы благодарная Россия поставила вашему батюшке монумент за эту услугу.

– Да, – вмешалась Олимпиада Алексеевна, – и я слыхала

что-то... говорят, из него вышел ужасный мерзавец.

– Это как взглянуть, тетушка. Ежели судить по человечеству, хорошего в господине Ревизанове действительно мало. А если стать на общественную точку зрения – душа человек и преполезнейший деятель: такой, скажу вам, культуртрегер, что ой-ой-ой! Мне, когда я был прикомандирован к сенатору Лисицыну в его сибирской ревизии, рассказывали туземцы про подвиги этого барина: просто Фернандо Кортес какой-то. Где ступила нога Ревизанова – дикарю капут: цивилизация и кабак, кабак и цивилизация... Кто не обрусее, тот сопьется и вымрет; кто не вымрет, сопьется, но обрусее...

– Ты с чего же злишься-то? – насмешливо прервала Синева Олимпиада Алексеевна.

– Бог с вами, тетушка! не злюсь, а славословлю... Притом же Ревизанов этот, в некотором роде, Алкивиад новейшей формации: к публичности у него прямо болезненная страсть. Помилуйте! Давно ли он прибыл в Москву? А она уже полна шумом его побед и одолений. Кто скупил чуть ли не все акции Черепановской железной дороги? Ревизанов. Кто съел ученую свинью из цирка? Ревизанов. Кто пожертвовал пятьдесят тысяч рублей на голодающих черногорцев? Ревизанов. Чей рысак взял первый приз на бегах? Ревизанова. Чей миллионный процесс выиграл Плевако? Ревизановский. У кого на содержании наездница Léonie – самая шикарная в Москве кокотка? У Ревизанова. Он теперь всюду. Просто уши болят от вечного склонения со всех сторон: Ревизанов, Ревизанова,

Ревизанову... Хорошо еще, что он не имеет множественного числа!.. Да, позвольте! вот вам вещественное доказательство его величия.

Синев вынул из кармана номер юмористического журнала.

– Видите? Он сам. Большая голова на маленьких ножках, как водится, но, заметьте, лицо вырисовано не по-карикатурному: не дерзнули наши Ювеналы... а лести-то, лести-то в подписи!..

– Чем он, собственно, занимается? – спросила Людмила Александровна.

– Это, кухня, опять – как взглянуть. Для всех он – капиталист, миллионер, стоящий во главе дюжины самых разнообразных предприятий; а для меня, в качестве скромного представителя прокурорского надзора, он пока состоит в звании интересного незнакомца, с которым очень хотелось бы познакомиться.

– А я было думала, – разочарованно сказала Олимпиада Алексеевна, – что ты с ним приятель...

– Нет, до приятельства далеко, а так встречаемся, шутим, раза два-три ужинали вместе... Он даже как будто благоволит ко мне. По крайней мере, всегда любезнее, чем с другими.

– А мне слышалось, будто ты сейчас сказал, что не знаком?

– Вы не поняли, тетушка: знаком, да не так, как мне на-

до...

– Ну, мне все равно как, – это твое дело. Но – раз знаком хоть как-нибудь – изволь его нам представить.

Людмила Александровна взглянула на Ратисову с изумлением и испугом.

– Что ты? – возразила на этот взгляд Олимпиада Александровна. – Да отчего же нет?

Верховская пожала плечами и ничего не сказала.

– Ты – как хочешь, – продолжала Ратисова, – а я непременно возобновлю знакомство. Ишь Петя рассказывает, какой он стал интересный человек...

– Прямо герой романа, тетушка.

– Во вкусе Зола? Мопассана?

– Нет. Скорее в роде «Графа Монте-Кристо», а пожалуй, и «Рауля Синей Бороды» – только не того, тетушка, которого, к утешению вашему, изображает у Лентовского Саша Давыдов, а гораздо серьезнее...

– Ух, страсти какие!

– Да-с! с ядом, мертвыми телами и прочими судебными атрибутами.

Олимпиада Алексеевна перекрестилась под веером.

– Ты меня не пугай! – серьезно сказала она. – Я твоей судебной медицины недолюбливаю...

– Вы, конечно, шутите? – спросила Верховская.

Синев пожал плечами:

– И да, и нет. Я хотел бы рассказать вам биографию Ре-



визанова, но у него нет биографии. Есть легенда. Но московские легенды всегда слишком близко граничат со сплетнею. Факты вот: Ревизанов был дважды женат на богатейших купчихах и, счастливо вдовев, получил в оба раза миллионные наследства. Вторая жена его – золотопромышленница Лабуш – умерла при подозрительных обстоятельствах, так что произведено было следствие. Однако Ревизанов вышел из воды не только сух, но даже с блеском – как бы заново полированный и лакированный... Сейчас он владелец богатейших золотых россыпей в Нерчинском и Алтайском округах. Он строил Северскую дорогу. Он директор-распорядитель, то есть, в сущности, бесконтрольный повелитель Северо-восточного банка. На Волге, Каме, Вятке у него свои пароходства. Вот и все. Затем – истории конец, и начинается легенда, то есть слухи недовольства и сплетни зависти. Прикажете сплетничать?..

– Нет уж, в другой раз, – перебила Ратисова. – Бевиньяни вышел в оркестр... Сейчас поднимут занавес. Не обидься, пожалуйста, но – «*Ja donna ê mobile*» – когда поет Мазини – все-таки интереснее твоих рассказов...

Синев откланялся и ушел. Женщины обменялись многозначительным взглядом.

– Вот – что называется – сюрприз! – сказала Ратисова.

Людмила Александровна молчала.

– Мне не нравится, что ты взволновалась, – продолжала Олимпиада Алексеевна. – Неужели из тебя еще не выветри-

лась наша старина? Ведь восемнадцать лет, Людмила! Воды-то, воды что утекло!.. Веришь ли: что касается до меня, – я точно все то время во сне видела. И вот тебе крест: ведь предо мною он больше виноват, чем пред тобою... А между тем смотрю я на него и – ничего: нет во мне ни злобы, ни обиды... Все равно – как будто никогда и не знавала его: чужой человек... А на тебе лица нет. Неужели ты до сих пор помнишь и не простила?

Людмила Александровна сосредоточенно посмотрела в партер.

– Не то! – задумчиво возразила она. – А просто неожиданность. Я никогда не вспоминала этой проклятой старины и думала, что уже и вспоминать ее не придется... И вот, когда я совсем о ней позабыла, она тут как тут, нечаянная, нежданная... ужасно неприятно! Ты знаешь, я немножко верю предчувствиям: встреча эта не к добру.

– Вот глупости!.. Знаешь, Милочка, – начала Ратисова после продолжительного молчания, – я сегодня в первый раз перестала раскаиваться, что из-за меня когда-то расстроилась твоя свадьба с Ревизановым... Если хоть десятая доля того, что рассказывал Петька, правда, – хорош он гусь, нечего сказать... Да и тогда-то, в нашей-то суматохе, красиво вел себя мальчик, нечего сказать: хоть удавить, и то, пожалуй, не жалко. Хотя ты и злилась на меня в то время, зачем я стала между вами, а по-настоящему-то рассуждая, ты должна меня записать за то в поминание – о здравии рабы Божией Олим-

пиады. Не вскружи я тогда Андрею Яковлевичу голову, быть бы тебе за ним.

– Ах, да перестань же наконец, Липа! – почти прикрикнула Людмила Александровна. – Неужели так весело вспоминать, что когда-то мы были глупы и не имели никакого уважения к самим себе?

– Ну, ну, не злись: я ведь так только – для разговора...

Но, обводя биноклем публику, сбиравшуюся в партер после антракта, Олимпиада Алексеевна не утерпела и снова направила стекла на Ревизанова.

– А надо отдать ему справедливость, – вздохнула она, – до сих пор молодец... Даже как будто стал красивее, чем в молодости... А манеры-то, манеры!.. Всегда был джентльмен, но теперь – просто принц Уэльский!

В устах Олимпиады Алексеевны это была высшая похвала мужчине. Как-то раз, не то в Биаррице, не то в Монте-Карло, ей удалось быть представленною «первому джентльмену Европы», и принц навсегда покориł ее воображение до обожания – почти суеверного...

Дверь ложи скрипнула; вошли, возвращаясь из «курилки», мужа обеих дам.

– Представь, Милочка, кого я сейчас встретил, – радостно заговорил Степан Ильич, подсаживаясь к жене, – Ревизанова, Андрея Яковлевича... Вот уж сто лет, сто зим!.. Хоть он теперь и туз из тузов – рукою его не достанешь! – а все такой же милый, как был. Очень сожалел, что мы встретились

лишь в последнем антракте и он уже не может зайти к нам в ложу поздороваться с тобою и с вами, Олимпиада Алексеевна... Я зазвал его к нам обедать – в воскресенье... Обещал непременно.

На лице Людмилы Александровны легла тень сильного неудовольствия.

Олимпиада Алексеевна, комически вздохнув, прошептала:

– Fatalité!<sup>6</sup>

Запел Мазини.

---

<sup>6</sup> Судьба! (*фр.*).

## IV

Ратисовы довели Людмилу Александровну из театра домой в своей карете. Степану Ильичу надо было заехать в Купеческий клуб, где его ждал какой-то одесский коммерсант с партией пикета и деловым разговором между партией. Сменив вечерний туалет на блузу, Верховская прошла по дому хозяйским дозором. Дети уже спали. Людмила Александровна заглянула к ним в комнаты и перекрестила их, сонных, в постели. В столовой был накрытый холодный ужин, но Людмила Александровна приказала снимать со стола: она не хотела есть.

Она была очень не в духе. На гладком лбу ее, над тонкими бровями, легли две беспокойные морщины; омраченные глаза смотрели гневно и тревожно. Дом затих. До возвращения Степана Ильича из клуба было еще далеко. Людмила Александровна прошла в свой будуар и, присев к письменному столу, долго рылась в его ящиках, пока не нашла, чего искала: толстую тетрадь в тисненном красном сафьяне. Тетрадь была исписана мелким бисерным почерком. Чернила уже поблекли, бумага тоже пожелтела местами. Людмила Александровна углубилась в рукопись... Вот что она читала.



В 186\* году мой отец, богатый калужский помещик, Александр Григорьевич Рахманов, вступил во второй брак с моею институтскою подругой, Олимпиадой Алексеевной Станищевой, и, по настоянию молодой жены, переехал на житье из деревни в Москву. То было самое счастливое и веселое время моей жизни; мне только что исполнилось семнадцать лет: два года тому назад я оставила институт, не кончив в нем курса, и теперь была свободна и беззаботна, как птица.

Сначала, в деревне, отец и Елена Львовна Алимова, сестра моей покойной матери, принялись было довершать мое воспитание; но я была слаба здоровьем и, пред тем как оставить институт, перенесла тяжкую нервную болезнь, после которой медленно и трудно поправлялась, так что мои воспитатели остерегались слишком утруждать меня умственной работой. Потом, когда ради моего развлечения тетя Елена написала гостить к нам Липу Станищеву, Липа скоро влюбила в себя папа, и он, занятый сердечными делами, первый стал небрежничать своими наставническими обязанностями. После началась предсвадебная суета; Липа была бедная, и все ее приданое было сделано в нашем доме, на счет папа. Тетя Елена вела занятия со мною, пока не заметила, что передала мне все, что знала сама. Да и ей стало не до меня. Очень не по сердцу пришелся ей поздний роман моего отца. Аристократ-

ка в слове, мысли и деле, строго нравственная, немного даже rude<sup>7</sup>, искренно и сознательно религиозная, Елена Львовна являлась резкою противоположностью Липе – с ее умом, ленивым и взбалмошным, с ее сердцем, расположенным легко привыкать к людям, но еще легче отвыкать, любя их лишь до первой размолвки; охотно принимающим жертвы, но неспособным на них; напоказ – чувствительным, на деле – распущенно-себялюбивым, избалованным, эгоистическим. Липа была образована слабо, по-институтски, да забыла и то, что знала, через месяц после выпуска. В институте она была общею любимицею, слыла примерною скромницею, но едва вырвалась на свободу, как набралась какой-то цыганской удали, обзавелась развязною речью, смелыми взглядами, довольно вульгарными манерами, бывала весьма довольна, если при ней говорили двусмысленности, которых я еще не понимала, а тетя не выносила. В обществе всегда находили меня и красивее, и умнее Липы, да я и моложе ее на три года; однако мужчины интересовались ею гораздо более, чем мною. Между тем со своими золотыми волосами, бело-розовой кожей и пухлым русским лицом, она была разве лишь недурна собою. Правда, она сложена, как статуя, и даже самый уродливый из покровов того времени – когда во главе моды стояла французская императрица Евгения, покровительница пресловутого кринолина – не мог скрыть роскошь ее тела. В каждом жесте Липы, всегда ленивом, медлительном,

---

<sup>7</sup> Недотрога (*фр.*).

но сильном, было что-то дразнящее, сказывалась тайная чувственность, разлитая в ее молодой крови.

Тетя Елена инстинктивно невзлюбила Липу, когда та, по ее же зову, приехала ко мне в гости, и вступила с нею в упорную борьбу, когда Липа стала членом нашей семьи. И чем дальше шла эта мелочная борьба в косвенных нападках, едва понятных намеках, шпильках, преднамеренных обмолвках и «нечаянностях», тем непримиримее разгоралась вражда обеих женщин. Опираясь на защиту безоглядно влюбленного мужа, Липа, конечно, была сильнее тети и – странно – гораздо находчивее, искуснее и хитрее ее, – такой умной и развитой, – на то, чтобы сделать своей неприятельнице маленькую гадость, поставить ее в неловкое и смешное положение. Липа выжила бы тетю из дому, но весь порядок нашего житья-бытья, дававший комфорт каждому из членов семьи, был делом рук Елены Львовны: удалить ее – значило бы выдернуть главную пружину из хорошо заведенной и правильно идущей хозяйственной машины; для того же, чтобы заменить тетю, Липа была слишком ленива, а я – чересчур молода, да сверх того, всякое посягательство на права тети являлось в моих глазах чуть не святотатством. Однако должна сознаться: как ни ясно понимала я, что огорчаю тетю, которую всегда любила и уважала – как друга и наставницу, заменившую мне, ранней сироте, родную мать, – но молодость сильнее тянула меня к Липе; а чем теснее сближалась я с нею, тем дальше становилась от тети.



В Москве мы зажили открыто, на широкую ногу. У нас бывало много молодых людей. В одного из них, Андрея Яковлевича Ревизанова, я влюбилась, как только может влюбиться семнадцатилетняя девочка, ничего не выдавшая, кроме деревни да институтских стен. Ревизанов обладал всеми данными, чтобы нравиться женщинам: был хорош собою, умен и ловок в обращении. Я стала его любовницей. Как это случилось, я и теперь не отдаю себе отчета. Было безумие, туман какой-то... Минута наглости с его стороны, минута страстного забвения с моей, полуобморочные объятия... После этой беды я очутилась совсем во власти Ревизанова; он повелевал мною, как рабынею; собака не может быть преданною своему господину вернее и беззаветнее, чем я была предана ему. Я не размышляла о том, что делаю, да и могла ли размышлять, влюбленная до безумия, занятая мечтами только о нем одном, моем герое, полубоге? – тем более когда не нынче-завтра Ревизанов должен был сделать мне официальное предложение и стать моим мужем? Я твердо верила в его обещания. Он и в самом деле не думал обмануть меня: брак со мною – дочерью богатого и уважаемого человека с большими связями – был для него, в то время почти нищего, золотым кладом. Случай открыл мне глаза и перевернул всю мою судьбу.

У меня была горничная Раиса – замечательно хорошенькая и почти еще девочка. Все мы в доме очень любили ее – я в особенности. Верила я ей, как самой себе. Раиса не знала,

как далеко зашли мои отношения с Ревизановым, но знала, что я люблю его, что он ухаживает за мною и собирается на мне жениться. Случалось – довольно часто, – что она носила Ревизанову мои письма. С некоторого времени Раиса переменилась ко мне: стала мрачна, избегала смотреть мне в лицо; я часто замечала ее с наплаканными докрасна глазами... И вот однажды она бросилась мне в ноги и со слезами показываясь, что Андрей Яковлевич соблазнил ее, обещая взять к себе в дом, когда женится на барышне, т. е. на мне, и любить больше, чем жену; что все это говорит она, жалея меня, потому что «Андрей Яковлевич самый подлый человек на свете и мне не следует выходить за него замуж: у него только интерес на уме, а чувств ни к кому нету».

– Ты лжешь!

– Вот же ей-Богу, барышня! хоть икону снять! Горькая я, несчастная! – заголосила девушка, но взглянула на меня и умолкла. Должно быть, я страшно изменилась, потому что на лице Раисы отразился безумный испуг; она быстро поднялась на ноги и попятилась к дверям.

Оставшись одна, я была как в столбняке.

«Что же теперь делать?» – безостановочно кружилась мысль в моей голове, но мозг отказывался работать над нею, отвечая бессмысленною фразою: «Какое глупое положение!» Я хотела заплакать – не вышло; хотела засмеяться горьким смехом – горло не издавало звука; а в голове стучало, стучало: «Что же теперь делать? какое глупое положение!»

ние!» И больно было мне от монотонного, как чиканье маятника, и ничего не разрешающего стука... Кое-как, наружно, я овладела собою и позвала Раису. Она пришла, заплаканная, трепещущая и хорошенькая больше чем когда-нибудь. Я видела ее красоту и – странно! – не чувствовала к ней ни малейшей ревности...

– Рассказывай мне все!

Всхлипывая и взвизгивая, она передала мне свою печальную историю. Слушая Раису, я краснела и бледнела – опять-таки не от ревности к своей счастливой сопернице, но от оскорбленной гордости, от стыда за сходство нашего позора: ее история была моею историей – историей слабовольной девчонки, ошалевшей в объятиях опытного, дерзкого, грубого Дон-Жуана.

– Зачем ты призналась мне? – прервала я Раису. – Ведь ты знаешь, какая я доверчивая; не скажи ты сама – я бы ничего не подозревала... Что тебя толкнуло?

Девушка хмуро смотрела в сторону:

– Да говорю же: жаль вас, барышня, стало...

– Только это?..

Раиса молчала. Потом махнула рукою и сверкнула глазами:

– Да что мне их миловать-то! Извольте, барышня, вот вам вся правда. Со злобы большой призналась. Потому что Андрей Яковлевич не одну вас – и меня тоже провел. Он теперь с молодою барынею связался.

– С какою молодою барынею?

– С нашею, с Олимпиадою Алексеевною.

Свет исчез из моих глаз... Моя мачеха, мой лучший друг, моя Липа!.. А Раиса шептала мне:

– Вот и сейчас она к нему поехала... Сказалась, будто в ряды; а я знаю, какие это ряды! Каждый день так-то видятся где-нибудь да потешаются над нами, дурами...

– Вон! – прохрипела я.

И опять – этот прежний тяжелый столбняк. Потом... я хорошо помню себя лишь с тех пор, как швейцар Василий распахнул предо мною двери подъезда и я очутилась на улице. Воздух освежил меня. Самосознание понемногу возвращалось. Как видно, женский инстинкт красоты работает, если даже все чувства поражены. В зеркальных окнах магазинов я видела себя, одетую тщательно, как всегда. Прохожие провожали меня, как хорошенькую нарядную барышню, обычными взглядами одобрения, не замечая во мне, по-видимому, никакой странности. Я улыбалась глазами, хотя чувствовала в горле приступы истерического удушья. Только мыслей по-прежнему не было в тяжелой, как свинцом налитой, голове, и явственно звенело в ушах моих нахальное щебетанье: «Какое глупое положение... какое глупое положение!»

– Апельсины хороши! – крикнул возле меня разносчик.

Этот крик был первым внешним звуком, проникшим в лентаргию моей мысли. До того я только видела улицу, но не слыхала ее. Я вздрогнула и остановилась.

– Купили бы, барышня!

Не знаю, как в руках моих очутился сверток с пятью апельсинами. Я очистила один, не снимая перчаток, и на ходу начала жевать его, пластинку за пластинкой. Какая-то элегантная дама с удивлением оглядела меня; ее презрительная улыбка напомнила мне, что кто-нибудь из нашего общества может встретить меня с этими неприличными апельсинами, и мне стало стыдно и досадно. Я бросила их на мостовую.

– Извозчик! на Третью Мещанскую! – приказывал чей-то бас.

«Третья Мещанская! это где-то далеко!» – подумала я и тут вспомнила, что иду очень давно и должна была пройти большое расстояние. Я огляделась: мое бессознательное странствие завело меня с Пречистенки к Триумфальным воротам. Куда же теперь? И – я не успела еще ответить себе – как уже опять шла скорыми шагами, считая зачем-то плиты тротуара. Так я пришла к Ревизанову. Он жил на Бронной, занимая две небольшие комнаты в тихих студенческих номерах. Дверь оказалась незапертою. Я вошла, встреченная криком испуга. Женщина в белой юбке, без корсета, спрыгнула с колен Ревизанова и повернулась ко мне спиной. Золотые волосы волною рассыпались до поясницы. Раиса не солгала: я узнала Липу! Ревизанов встал с места, бледный до синевы. Он ломал руки; я слышала, как хрустели его пальцы. Мы все трое молчали. Мне стало как-то легко, словно пусто, в груди. Точно позор Липы снял с меня тягость моего собственного

позора. Мне даже любопытно было слышать, что скажет Ревизанов, как выпутается он из безобразного положения. Но этот самоуверенный, ловкий человек потерялся до жалости и то бледнел, то краснел пятнами да хрустел пальцами. Тогда дикий смех начал подниматься и клокотать в моей груди. Я засмеялась тихо, но явственно... потом мне захотелось плакать, и я вышла из номера.

Мне было очень дурно, но я уже совсем овладела собой и, чувствуя приближение истерики, понимала необходимость скрыть ее от своих домашних. Я взяла извозчика и приказала везти себя в Петровскую академию. Я сдерживалась, как могла, а все-таки возница не раз оглядывался на меня с большим беспокойством, когда нервный смех или рыдание, вопреки моим усилиям, вырывались из крепко стиснутых губ. В академии я прошла в глухую, безлюдную часть парка, что за прудом, и легла там на землю, в густой купе бузины и сирени. День был чудесный – тихий и ясный; парк благоухал цветами, звенел птичьими песнями, а я плакала, плакала, плакала, уткнув лицо в молодую траву и царапая ногтями ладони в сжатых кулаках.

Я вернулась домой с тем спокойствием отчаяния, которое овладевает людьми после непоправимых потерь, когда уже истощены все громкие порывы горя. Дома я казалась спокойною, как всегда, а у меня была смерть в сердце. Мне было жаль не любви Ревизанова: я изнемогала от острой, почти физической боли презрения к нему и сознания, что я пору-

гала сама себя, бросила свое сердце в помойную яму!

Липа уже несколько раз спрашивала обо мне и, едва я, после обеда, вошла в свою комнату — явилась для объяснений. Она успела вернуть себе обычную самоуверенность и напала на меня с упреками: она никак не ожидала, чтобы я была настолько низка — подсматривать за нею; мне, конечно, досадно предпочтение, оказанное ей Андреем Яковлевичем, но ревновать до решимости шпионить за молодым человеком, даже на его собственной квартире, гадко и безнравственно; без сомнения, я постараюсь отомстить, все расскажу папе; но это ничего не значит: Александр Григорьевич слишком ее любит, не поверит ни одному слову, и мне же достанется; к тому же у меня нет никаких доказательств. Я догадалась, что, опасаясь взбалмошного нрава Липы, Ревизанов не открыл ей ни раньше, ни теперь настоящей близости наших отношений, и подумала: «Хоть за это спасибо!» Я ничего не отвечала Липе. Она, поняв мое молчание в том смысле, будто уговорила меня и склонила на свою сторону, бросилась целовать меня и осыпать ласками. Мне были неприятны ее нежности, но я признавала себя преступною больше Липы и не смела брезгать ею.

— Ревизанов делал тебе предложение? — шептала Липа.

— Делал.

— Что же, ты выйдешь за него?

Глупость ее вопроса болезненно отдалась в моем обиженном сердце. Я не могла удержаться от резкой фразы:

– Нет, Липа! зачем? Предоставляю тебе делить твоего любовника с Раисою.

Липа широко открыла глаза:

– Что такое? при чем тут Раиса?

Я передала Липе, как Раиса, признанием в своем несчастье, побудила меня идти к Ревизанову за отчетом в его отношениях ко мне. Жестокое побуждение – заставить и Липу перечувствовать все, что я выжила в этот тяжелый день, – вызвало на мои уста короткий и тем более резкий и беспощадный рассказ. Она привыкла верить мне и теперь ни на минуту не усомнилась в справедливости моих слов; колыхаясь от рыданий, она шептала:

– Ах, подлец! подлец! С горничной!

При виде слез мое озлобление стихло. Я напоила Липу водою, и мало-помалу она утешилась и даже принялась обдумывать планы, как бы отмстить Ревизанову. Все, что она говорила, было нелепо, но, занятая своими скорбными мыслями, я не возражала.

– А я-то, дура, любила его! – словно сквозь сон слышала я, – помнишь, Милочка, ты спрашивала меня: отчего я не ношу своих бриллиантов? – я еще покраснела тогда... Ревизанову в то время надо было заказывать платье, а денег у него не случилось... Он спросил у меня. Я взяла и заложила свои бриллианты, а Александру Григорьевичу сказала, что отдала переделать оправу. Я Ревизанова и после много раз выручала.



Только этого не доставало в моем позоре! Быть любовницей негодяя, бравшего от другой женщины деньги, и считать его героем чести, идеалом мужской доблести... И этот человек был царем моего воображения, и этот человек полновластно распоряжался моим телом!

Липа собралась уходить от меня, но на пороге остановилась и, с некоторым колебанием, видимо, смутившись, произнесла:

– Милочка! я хочу предложить тебе один вопрос... глупый, лишний, конечно, а все-таки... Я знаю: ты такая нравственная, чистая, но... ты вот была сегодня у Ревизанова... Раньше – извини пожалуйста! – ты не бывала у него?

У меня потемнело в глазах, но хватило силы не выдать себя и выдержать пытливый взор Липы...

– Нет!

Липа оставила меня, совсем успокоенная и даже веселая.

## V

Вечером у нас были гости; я сказалась нездоровою и не вышла к ним. Поздно, часов в одиннадцать ночи, в мою комнату вошла тетя Елена Львовна.

– Можно посидеть у тебя немного? Корицкие уже уехали, Александр Григорьевич заперся в кабинете, пишет что-то, Липа легла спать, а мне не спится. Да и тебе, кажется, тоже? Я не помешаю тебе? Кстати, мне надо спросить тебя кое о чем...

Она присела на кровать, у моих ног.

– Скажи, пожалуйста: какие секреты завелись у тебя с Раисой? Я знаю – ты никогда прежде не допускала интимностей со своими фрейлинами, а тут вдруг запираешься с горничной на ключ, шепчешься, после разговора – ходишь сама не своя, пропадаешь на полдня неизвестно где, сказываешься больною!..

Я много любила тетю, и она меня много любила; обе мы сознавали теплоту этой любви и дорожили взаимным чувством. Что тетя осудит и будет презирать меня, мне было страшнее, чем если бы все близкие прокляли меня и навсегда отrekliсь от моего общества. Но еще страшнее было остаться вдвоем со своею уродливою тайною – в самоистязующем одиночестве, полным гневной обиды, оскорбительных воспоминаний, презрения к себе, ненависти ко всем им

– отравителям моей молодой души... И я выдала себя тете. Пока я говорила, тетя стала совсем белая, а глаза ее, полные внезапно налетевшего ужаса, словно потеряли свой цвет и безумно смотрели на меня расширенными зрачками. Я кончила. Елена Львовна осторожными шагами подошла к двери, выглянула в коридор, послушала в темноте: мы были совсем одни. Тетя заперла дверь на ключ, задернула тяжелую портьеру и, прислонившись спиной к стене, простерла ко мне дрожащие руки. Не стон, не плач, не крик вырвался тогда из ее груди – то был странный вздох, всхлипывание бесслезного рыдания. Мне стало страшно. Я вскочила с кровати:

– Тетя! золотая моя, милая!

Я упала возле нее на колени и, в порыве жалости и любви, целовала ее руки и платье. Тетя почувствовала меня близ себя, склонилась ко мне и схватила мою голову в тесное объятие. Слезы ее полились горячим дождем на мою голову. Наконец она сделала попытку успокоиться, выпустила меня из своих рук, налила себе из графина воды, но расплескала половину стакана, прежде чем донесла до рта; она пила, а зубы ее стучали о стекло.

– Боже мой, Боже мой! – шептала она и вдруг, заметив, что я, босая и полуобнаженная, стою на холодном паркете, приказала голосом, уже старавшимся принять обычную строгую интонацию: – Ты простудишься. Поди ляг.

Машинально, по привычке слушаться, я повиновалась ей. Тетя быстрыми шагами ходила по комнате.

– Погибла, поругана! – слышала я ее отрывистые фразы, – ох, я слепая, старая девка! Куда же я-то, я смотрела?! Я одна виновата! Что мог понимать этот бедный ребенок в своем падении? Я одна преступна, с моим эгоизмом, с моим равнодушием. Девочка моя, жизнь моя! простишь ли ты меня? Я должна была уберечь тебя, а не уберегла! Я отстранилась от тебя, потому что ты стала другом той... гадине! Мне казалось, ты любила ее больше, чем меня... А ее я ненавидела всей душою, ненавидела с той самой минуты, как решен был ее проклятый брак... Она сделалась госпожою в семье; я заключилась в своем углу. Меня забыли, меня не хотели знать. А я чувствовала, что она фальшивая. Больно было мне уступать ей. И я оскорбилась, сама не захотела никого знать, ушла в самое себя. И вот плоды! О, Господи! За что же послал Ты на меня ослепление? За что покарал Ты меня не на мне самой, а в этой несчастной... неразумной... Ах, голубка моя, голубка!

Елена Львовна села у кровати. Мы долго молчали.

– Что же теперь делать? – произнесла она.

– Папе ни слова... ради Бога! мне страшно... стыдно!

– Да, да! конечно! Зачем говорить ему? Только одним несчастным будет больше!.. Скрыть надо, от всех скрыть!.. Но как же? Что же делать?

И мы опять умолкли в мрачном недоумении.

«Умереть хорошо бы!» – прошла мысль в моей голове, и тетя едва ли не подумала того же: взгляд ее был угрюм и ре-

штителен. Но вот она встрепенулась, словно стряхнула с себя бремя назойливой думы, и прошептала быстро и отрывисто:

– Нет... нет... ни за что!

– Тетя! – воскликнула я, схватив ее руки, – тетя! помогите мне!.. Советуйте, приказывайте! распоряжайтесь мною, как вещью, только помогите, осветите мою душу! Мрак царит в моем сердце: все, что было там живого, взял и убил злой человек. Ожесточение только осталось. Ведь я вас любила, папу любила, весь мир, от звездочки до самой мелкой пылинки любила. А теперь мне стало все равно: и никто мне не дорог, и я сама себе не дорога. И про кого я сейчас думаю, что люблю их, тех люблю не душою, как вчера, как всегда, а словно по обязанности, по привычке. Ушла от меня любовь, и вера ушла с нею... Пусто, холодно, темно вокруг меня! Дайте мне света, тетя!

– Света!.. Дитя! где же взять мне этого света? Много во мне любви к тебе, девочка; чуть не задушила она меня, когда поднялась навстречу твоему горю. Но, бедная, любовь моя сумеет только горевать с тобою; утешать она – боюсь – не может... Свет! Люди говорили в старину, будто свет – в покаянии, в искуплении вины.

– Как же, чем я искуплю ее? Я на все готова.

– Не знаю как, Милочка... Нет на это правил. Разным людям – разное и покаяние. Жди! – авось жизнь подскажет.

– А если нет, тетя?

– Тогда молись, Людмила, чтобы Бог дал тебе дождаться

хоть забвения.

– Забвения не будет, тетя!

– Оно должно быть и будет. Жизнь все сглаживает. Теперь ты рада пойти босиком в Иерусалим, лишь бы заглушить свои нравственные страдания; через десять лет грех будет казаться тебе тяжелым сном. Ты выйдешь замуж...

– Я?! Никогда, тетя!

– Как же ты собираешься жить?

– Я не знаю, тетя. Но вы прожили же без замужества.

– Ах, Людмила! Нашла пример!

– Вы дали воспитание мне, я тоже посвящу себя детям... да, детям Липы! Она не занимается своим мальчиком, да и никогда не будет заниматься. Где ей!

– Молчи, дорогая! ты не знаешь, что говоришь! – оставила меня тетя. Она опять была в крайнем волнении, и я не могла понять, чем дала ей повод к новому взрыву отчаяния. – Идти по моим следам! – посвятить себя воспитанию детей той женщины, которая отняла у тебя любимого человека! Остаться старою девою! Дитя мое, да понимаешь ли ты, что это за страшное слово: «старая дева»?!

– Я слов не боюсь, тетя.

– Нет, милая! надо бояться... Верь моему свидетельству – признанию старой девы, проклинаящей свою участь! Страшное, тяжелое слово!

– Как, тетя? Вы? вы клянете свою судьбу? Вы – всегда такая спокойная, холодная, рассудительная, не знающая ни

страстей, ни...

– Все знаю я, Людмила, все! И слушай: в моей молодости был день, когда я колебалась, что мне делать – убить себя или осудить на вечное девство. Я выбрала второе... и худо выбрала!

– Но, тетя... вам много раз делали предложения; вы сами не хотели...

– Да, потому что не могла, не считала себя вправе, не считала себя свободною.

– Вы любили?

– Да, я любила твоего отца.

## VI

Елене Львовне было шестнадцать лет, когда старшая сестра ее Лидия, яркая звезда петербургского большого света сороковых годов, вышла замуж за Александра Григорьевича Рахманова, молодого неслужащего дворянина с опасною репутацией «заграничного умника» и «красного». Так как мой отец пользовался своей репутацией не совсем незаслуженно, то, вскоре после свадьбы, ему пришлось надолго поселиться в деревне, на положении близком к ссылке. Из уездной глуши стали доходить к родным слухи о неладном житье молодых супругов. Моя мать, гордая, страстная женщина, кляла в своих письмах судьбу, связавшую ее неосмотрительным браком с неподходящим человеком. Она не уставала взводить на мужа разнообразные обвинения, и вот среди родни и друзей дома Алимовых начало слагаться представление об Александре Рахманове, как о чудовище вроде Рауля Синей Бороды: он терзает жену непомерной ревностью, держит ее взаперти, препятствует ей в самых невинных развлечениях и т. д. Поэтому, когда, года через три, Елена Львовна ехала гостить к сестре, она смотрела на свое путешествие, как на подвиг, мечтала облегчить своим приездом участь Лидии, доставить ей, в своем лице, подругу и наперсницу тяжелого семейного горя.

Но, вместо деспота мужа, Елена Львовна, к крайнему сво-



ему удивлению, нашла в моем отце добродушного, кроткого, немного вялого человека, вполне покорного жене, глубоко несчастного в браке и все-таки не возроптавшего на свое несчастье. Вместо угнетенной жены – нашла капризную самовластную женщину, в которой трудно было узнать прежнюю живую, эксцентричную, вспыльчивую, но ласковую Лидию Алимову. В доме и именье шла полная неурядица. «Не раздражать барыню!» – было единственным твердым правилом в быту Рахмановых, и барыню точно не раздражали, угождая ей с рабской покорностью во всех ее выдумках и затеях. А выдумки часто выходили за пределы всякого разума и приличия. Рахмановская усадьба была каким-то постоянным двором для губернской молодежи: гости не переводились в доме – дневали и ночевали, ели, пили, вели игру, ухаживали за красавицей хозяйкой, которой, по-видимому, очень нравилось это бесшабашное житье. Странность семейного склада Рахмановых заставила Елену Львовну объясниться с зятем начистоту. Она была возмущена и сильно горячилась:

– Как вам не стыдно?! Как вы допускаете и терпите такую сумятицу в своем быту? Что это? равнодушие? – так нет же! Вы любите Лидию: по вашему лицу видно, как вы страдаете...

– Допускаю и терплю, потому что прекратить не в моей, да и не в ее воле! – возразил мой отец.

– Как?! Я вас не понимаю... Подумайте: чем же кончится все это?

– А вот чем: пройдет припадок разгула, и Лидия сама положит конец этому безобразию, впадет в покаянный стих, станет молиться по целым дням, плакать, истязать себя веригами... Какой припадок хуже – этот или покаянный – уж и не знаю! Судите сами.

– Боже мой! Значит, Лидия...

– Душевнобольная! К сожалению, это несомненно, Елена Львовна, – сознался отец и заплакал.

Елену Львовну как громом ударило. Она не могла не поверить: душевнобольные встречались почти в каждом поколении рода Алимовых, а Лидия была не без странностей уже в детстве. Александр Григорьевич рассказал, как мог, историю недуга жены, созревшего в невольном провинциальном уединении. Однообразие жизни возбудило в молодой женщине жажду новых ощущений, заставило броситься очертя голову в омут первых представившихся незатейливых развлечений; почти невольно она изменила мужу: раскаявшись, сама рассказала ему свой грех и молила о прощении, а прощенная, стала презирать мужа за великодушие, показавшееся ей либо отсутствием любви, либо неприличною для мужчины слабостью. Презирая мужа, ненавидя себя, она искала забвения то в разгульных пирушках, то в преувеличенно-усердной молитве и чуть не аскетических подвигах. Сперва папа жестоко негодовал на жену, позорившую его имя, но мало-помалу убедился в полной произвольности ее поступков, примирился с роковым ударом, начал ее ле-

чить... повез за границу, развлекал... О широкой жизни их в Париже ходили громкие легенды. В свои светлые промежутки мама блистала остроумием, образованием; о ней говорили, как о выдающейся звездочке среди парижских *esprits forts*<sup>8</sup>; тогда-то и целовал ей руки Гейне, и – проездом – написал романс Глинка... Но светлые промежутки видели только посторонние, а весь ужас припадков неизлечимой болезни падал свинцовой тяжестью на моего отца. Он нес эту тяжесть втихомолку, один-одинешенек – и впервые не вытерпел, поделился ею с Еленой Львовною... И вот, вместе с ужасом пред его горьким признанием, в душе Елены Львовны зародилась первая искра любви к моему отцу. Ей стало жаль нежного, честного сердца, истерзанного поруганною любовью, своим позором, горькою смесью презрения и сострадания к виновнице своего несчастья, все еще страстно любимой, вопреки всему, и – главное – состоянием полной безвыходности положения.

Когда скончался мой дед, Лев Андреевич Алимов, папа назначен был опекуном Елены Львовны, и с тех пор она не расставалась с нашим домом. Мама немногим пережила дедушку. Отец, убитый потерей жены, словно обезумел и, равнодушный ко всему на свете, не жил, а вяло влачил едва сознательное существование.

Уходу и заботам Елены Львовны папа был обязан своим возрождением. Тетя полюбила моего отца, неся целебную

---

<sup>8</sup> Ярких умов (*фр.*).

помощь его больному сердцу; он полюбил ее, принимая ее сострадание. «Она его за муки полюбила, а он ее – за сострадание к ним». Они объяснились... Вдовец от одной сестры, папа не имел права жениться на другой. Тогда-то тетя Елена разбила свою жизнь коротким приговором: «Покоримся необходимости. Нельзя идти против Бога». Напрасно папа доказывал, что закон можно обойти. Елена Львовна стояла на своем.

– Что мне в том, если вы сделаете наш брак законным в глазах людей, когда он останется непризнанным церковью и нами самими?

– Но ведь церковь даст нам свое благословение. Я найду священника...

– Да я-то не приму благословения от священника, который способен обманывать свою церковь, подделывать ее обряды... Не возражайте, Александр Григорьевич: вы не поймете меня: вам все равно, верите ли вы в Бога и церковь, а для нас, Алимовых, наша вера – наша совесть. Раскаемся, Александр Григорьевич, и – прочь от греха! Я не могу быть вашей женою... а ничем другим не хочу быть: гордость не позволяет... Простите меня!

Папа отвечал упреками:

– Вы не любите меня и никогда не любили. Вы просто развлекались от скуки платоническим романом. Вы обманули меня!

Елена Львовна смертельно побледнела, но – слишком гор-

дая для оправданий – повторила:

– Я виновата, Александр Григорьевич. Простите меня!

А в ночь после этого разговора, над прудом нашего деревенского сада, долго стояла темная женская фигура. И люди, и природа давно спали крепким сном, убаюканные теплою лаской светлой весенней ночи, а женщина, одинокая, неподвижная и безмолвная, все стояла, сурово глядя в темное ложе пруда, слушала порывистый стук сердца в своей груди и думала, что это сердце разбито и ей надо умереть. Но младенческий образ девочки-сиротки пролетел пред ее глазами и остановил ее в роковом шаге... тетя Елена посвятила свою жизнь мне. Никогда после не напоминала она Александру Григорьевичу о былой заглушённой страсти. Что касается самого отца, все его попытки вернуться к вопросу неудавшейся любви разбивались о холодное молчание Елены Львовны. Года через два папа уже не делал и попыток: он привык видеть в Елене Львовне только добрую родственницу и, махнув рукою на недавнее прошлое, был уверен, разумеется, что и тетя поступила так же.

## VII

– Да, говорила тетя Елена, – волнение улеглось, страдание притупилось; любовь не забылась, но перелилась в дружбу... нет, дружба – это мало... во что-то теплее, участливее. Ах, не легко далось мне это, но все-таки далось!.. Моя привязанность к тебе все росла и помогала мне в моем грустном пути. Пытка старого девства началась уже много позже.

Александр Григорьевич – увлекающийся человек. Он любил меня; потом, не встречая явного сочувствия, стал холоднее. Случалось ему, на моих глазах, влюбляться в других женщин. Сперва он конфузился этих неожиданных «измен» мне – своей «вечной любви», как неосторожно поклялся он когда-то и сам было поверил невозможной клятве. Он совесть свою мучил, страдал, скрывался, обманывал, но ты знаешь своего отца: он не в состоянии провести и ребенка, – где же ему обмануть любящую женщину? Потом, уверясь, что я если не знаю его «измен» в точности, то, однако, догадываюсь о них и все-таки не возмущаюсь, и он сделался откровеннее... Суди сама, легко ли было мне оставаться спокойною свидетельницей целого ряда мелких увлечений любимого человека. Ах, эти идеалисты! С ними женщине горе – не лучше, чем с развратниками. У них – вот какие большие глаза на нас. Всякая смазливая рожица, которая им улыбнется, – уже Психея; каждая не совсем глупая, не вовсе злая девчонка

– уже небесная душа... Но, да что распространяться! Дело говорит лучше слов: уж если Александр Григорьевич умудрился идеализировать даже Липу, – Филину из «Вильгельма Мейстера» она ему напоминала, видишь ли... радость, нечего сказать! – ты понимаешь, сколько подобных идеализаций пришлось мне перестрадать, прежде чем Бог наказал нас этим проклятым браком... Но я не считала себя вправе возражать и вмешиваться в ход жизни Александра Григорьевича. Что же? Раз я отказалась от его любви, – он человек свободный, обязанностей ко мне у него нет. Я только отвела свое сердце от него, – такого, каков он есть, – и стала любить его вдвое больше таким, каким раньше создало его мое воображение, каким – по-моему идеалу – следовало ему быть. А я тем сильнее любила свой идеал, чем больше исполнялась, про себя, ревнивою обидою к его носителю... обидою, может быть, недостойною и неправою: грешно требовать, чтобы человек, во имя одной неудавшейся любви, отказался воскресить свое сердце другою! Только эту – Липу – я была не в силах извинить ему, потому что она – животное, и кто любит ее, сам обращается в животное. Видеть же, как любимый человек оскотинивается и как торжествующая самка попирает его ногами... не дай Бог никому – самой худшей женщине, даже Липе этой, не пожелаю я такого горя, Мила!

Итак, я стала одинокою. Никому не было дела до меня, ни мне ни до кого. Я заключилась в своем больном чувстве... да в тебе, чужая дочка, дитя мое милое! Не будь тебя, не по

силам было бы мне помириться с отказом от брака. Я рождена быть матерью и воспитательницей! Да и есть ли женщина – нормальная телом и духом женщина, – которая искренно чувствовала бы себя рожденною для других задач и целей? Это – главное в женщине, это – вечное; все остальное – постороннее, временное, преходящее, как век мира сего. Бог создал нас, чтобы мы обновляли земные поколения. Женщина может забывать о том, отстранять от себя и брак, и материнство, может заглушать, маскировать и заслонять от себя истинное свое назначение другими человеческими целями; но уйти от него не может и никогда не уйдет: некуда. Ты изумилась, выслушав проклятие девству от меня, гордой, целомудренной Елены Алимовой... О, Боже мой! Когда бы ты знала эту, ужасную в своей бесцельной неправоте, борьбу духа с телом. Могла ли бы ты верить, что под моей маской бесстрастия поднимались порывы такой дикой чувственности, что временами мне казалось – лишь самоубийством я могу спасти себя от падения, позорного, унижительного падения без любви... падения ради падения? Поверишь ли ты в бессонные ночи, полные жгучей тоски полупонятных желаний, в страстные сны, откликавшиеся своими призраками на все, и духовное и плотское, что книги и воображение подсказывали мне в слове «любовь»? Оценишь ли ты горе видеть бесплодно отцветающим свое тело? Сказать ли тебе, что бывали дни, когда я ненавидела память покойной Лидии, от зависти, зачем ты – ее, а не моя родная дочь? А годы, ко-



гда я решилась сознаться, что напрасно исказнила себя? когда, в досадах на обидную действительность, стал меркнуть мой идеал? когда я со стыдом убедилась, что если Александр Григорьевич равнодушен ко мне, то время сделало свое дело и надо мною, и моя любовь из упорства неудовлетворенной страсти обратилась в упорство самолюбия, оскорбленного ранним охлаждением взаимного чувства в любимом человеке?.. Холодность – там, самолюбие – здесь... казалось бы, все кончено. Но нет: а обида-то? – Во имя чего же я принесла свою бесплодную жертву, если она, еще недавно принимаемая мною за подвиг, теперь, простою силою давности, обратилась в жестокую бессмыслицу в моем же собственном мнении? Трудно, Милочка, обвинять себя в своем же несчастье, да еще несчастье целой жизни. Кажется, вот и сердце, и ум согласились уже: «Ты сама отказалась от счастья и добровольно обрекла себя зачем-то на пытку. Себя и вини! Никто другой не становился тебе поперек пути, напротив, были добрые люди, еще указывали тебе дорогу к счастью!» А червь себялюбивый все-таки копошился в глубине души, и так и хочется подыскать источник своего зла во внешнем мире, оправдать себя насчет других... Тебя не поняли, тебя обидели; мир зол, глуп, отвратителен... Начинаешь понимать удовольствие сорвать зло, втягиваешься в эту жестокую самозабаву; временами является даже жажда быть оскорбленною, чтобы иметь право злиться: ведь если без повода-то бывает потом так совестно пред самою собою!

Сколько друзей я представляла врагами себе, сколько дружб растеряла, сколько врагов нажила. Ты знаешь, я не глупа. Но я мало занималась своим «я»; в юности нас учили – Бог знает, к добру или к худу! – больше интересоваться своими отношениями к людям нашего общества, чем рыться в своей душе. Но горе углубляет человека в себя, и в моей девической трагикомедии не укрылась от моего разбора ни одна черта. Сколько дурного, темного – такого, за что мне делалось стыдно в следующее же мгновение, – передумала и перечувствовала я в эти годы! Сколько я завидовала, ненавидела, презирала, сколько терзалась и злобилась! Я достаточно честна, чтобы стыдиться таких движений больного духа, и достаточно сильна, чтобы скрывать их. Выдержка-то есть: на то я и Алимова. Мы, Алимовы, люди долга, а не прихотей. Все считали и считают меня живым опровержением на ходячее представление о старой деве. Ложь! Когда бы люди знали, каким египетским трудом выработана моя маска доброты, спокойствия! Я добра, потому что должна и могу заставить себя быть доброю, а не потому, что я хочу.

Теперь мне лучше. Сорок лет – бабий век. Женщина во мне умирает... тело вянет... дух стал свободнее, мысль чище... Но до этого!.. Боже мой!

Ах, Людмила, не ругайся над плотью! Она покоряется, но и в порабощении жестоко мстит за себя. Если ты любишь себя, если ты хочешь испытать в жизни хоть несколько мгновений чего-то похожего на счастье – будь женою и матерью!

Выходи замуж. Ты заранее преступница пред своим будущим мужем, кто бы он ни был. Он уже обманут тобою, и ты заранее осуждена тянуть этот старый обман всю жизнь, до могилы. Стыдно это, подло, ужасно... тяжело и мучительно дастся оно тебе! Дурно, позорно с моей стороны убеждать тебя к этому, — да что мне теперь до позора! Мой позор со мною и останется; мой позор — мое и покаяние. Я так люблю тебя, я должна спасти тебя — спасти именно от того, чтобы ты не прошла сквозь унылые мытарства моей «завидной» жизни... Мне жаль, мне жаль тебя!.. Выходи замуж. Обманивай и страдай от обмана, но лучше десять обидных тайн, десять обманов на совести, чем тоска и каторга старого девства!

\* \* \*

Дочитав рукопись до конца, Людмила Александровна откинулась в глубь кресла и, прижавшись затылком к холодной кожаной спинке, глубоко задумалась. В ровном матовом свете лампы, неподвижная, с бледным лицом и широко открытыми черными глазами, она казалась скорее картиною какого-нибудь меланхолического мечтателя-художника, чем живым человеком... Часы пробили два... Людмила Александровна встрепенулась, вздохнула, провела рукою по лбу и, придвинув к себе рукопись, взялась за перо... На последнем, оставшемся чистым в тетради листке она написала следующее:

«Пятнадцать лет тому назад я, уже замужняя женщина, в минуту очень тяжелого настроения, полная угрызений совести пред мужем, неповинно мною обманутым, спросила моего друга, литератора Сердецкого:

„Аркадий Николаевич! что делать человеку, если у него на душе есть тайна, которую нельзя сказать людям, а между тем она душит его, сводит с ума, отравляет ему каждую мысль, каждый кусок хлеба?..“

„Парикмахер доблестного царя Мидаса, – шутливо отвечал Сердецкий, – в таком казусном положении доверил свой секрет ямке, вырытой в болоте. Но на болоте вырос тростник, и шепот его рассказал всему миру, что у царя Мидаса – ослиные уши. Тайна – если есть потребность ее рассказать – уже не тайна, Людмила Александровна“.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.